

Ап. ГРИГОРЬЕВ В ПИСЬМАХ И «ДНЕВНИКЕ ПИСАТЕЛЯ»
ДОСТОЕВСКОГО

К не очень ясным и даже отчасти напряженным взаимоотношениям двух главных идеологов почвенничества, А. Григорьева и Ф. Достоевского, давно приковано внимание исследователей русской общественно-литературной жизни середины XIX в. Статья, затрагивающая некоторые аспекты этой многосоставной и сложной проблемы, была напечатана и в третьем томе сборников-спутников Академического полного собрания сочинений Достоевского.¹ Ее автор, анализируя характернейшие особенности идейно-эстетической программы журнала «Время», наибольшее внимание уделил тому, что удачно назвал «внутренним парадоксом почвенничества»: «Тотальный скепсис по отношению к любой системности, концептуальности <...> реализовывался в почвенническом мировоззрении столь последовательно, что его позитивная программа, ориентированная на ничем не ограниченную конкретность, представала в форме максимальной абстракции. И в принципе субстанция истинного почвенничества должна была бы раствориться без остатка во всем бытии русской жизни, а его контуры — раздвинуться до бесконечности».²

Можно с полной уверенностью утверждать, что этот «парадокс» был предложен А. Григорьевым как необходимое условие подлинно независимого, объявившего войну всевозможным теориям и авторитетам направления. Неопределенность прямо объявлялась Григорьевым чертой, особенно дорогой ему в деятельности «молодого журнала». Он стремился убедить редакцию «Времени» в преимуществах такой промежуточной и непроясненной позиции.³ Призыв Григорьева был услышан: Ф. Достоевский, судя по его программным объявлениям и статьям, если и не всецело, то явно в основном согласился с парадоксальными аргументами

¹ Основат А. Л. К изучению почвенничества: (Достоевский и Ап. Григорьев). — В кн.: Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1978, т. 3. с. 144—151. См. в статье отсылки к литературе вопроса.

² Там же, с. 149.

³ «Сохрани лучше, даже с недостатками, свою молодость с неопределенностью, неясностью твоих честных стремлений!.. Право, ведь не все то хорошо, что ясно», — прямо обращался к редакции «Времени» А. Григорьев в статье «Плачевные размышления о деспотизме и вольном рабстве мысли (Из записок ненужного человека)». — Григорьев А. Воспоминания. Л., 1930, с. 344.

«ненужного человека». Более того: именно Достоевский всячески стремился поддерживать независимый и открытый курс почвеннических журналов «Время» и «Эпоха». Что же касается Григорьева, то его совет редакции «Времени» не торопиться с определением «общественного» лица журнала находился в противоречии с требованиями и диктатами, посылаемыми критиком из Оренбурга.⁴ Страхов, в письмах к которому Григорьев излагал программу действий, требованиям весьма сочувствовал, что и не пытался скрывать: «Всякий видит, что Григорьев говорит здесь тоном человека *власть имущего*, — тоном, на который имел столько прав и который был признаваем за ним в журнале».⁵

Невольно возникает вопрос: кем признаваем? Страховым? Бесспорно. Но ведь он не обладал решающим голосом в редакции «Времени». Ни М. М. Достоевский, ни — тем более — Ф. М. Достоевский «прав» Григорьева признавать и не собирались, а оренбургские меморандумы критика представлялись им нереалистичными и неоправданно высокомерными. Даже в статье-некрологе Ф. М. Достоевский счел необходимым внести полную ясность в этот «щекотливый вопрос» и — тем самым попутно — возразить слишком расположенному к Григорьеву Страхovu: «Что же касается до того: пускать ли того или другого в сотрудники или до требования человека нового и свежего для Политического обозрения и проч., и проч., — то этими требованиями Аполлон Григорьев только доказал, что он не имел ни малейшего понятия о практической стороне издания журнала. Если, положим, Кусков и Минаев, с образом мыслей которых журнал вполне несогласен, представят к напечатанию в редакцию журнала такие статьи, которые на этот раз не противуречат его главной идее, его направлению, а между тем сами по себе любопытны и даже талантливы, то эти статьи, разумеется, можно напечатать. Иначе ни один журнал не состоится. Так же точно нельзя не ошибиться, хоть раз, в напечатании какой-нибудь неудачной драмы или повести. Ошибался и Аполлон Григорьев, а такое требование с его стороны было слишком строго. Требование же „нового и свежего человека“ для Политического обозрения — было еще строже» (20, 135).

Деловые, суховатые примечания Достоевского, обрамляющие статью-некролог, не только разъясняли истинные причины разногласий и недоумений, возникавших у редакции «Времени» с Григорьевым, но и корректировали апологетические суждения Страхова, фактически оправдывавшего инструкции критика. Сильно сглаживая противоречия и конфликты, Страхов к тому же все пытается объяснить чисто психологической стороной дела: «Были, конечно, эти разногласия, но они были так нич-

⁴ Отъезд Григорьева Достоевский расценил как бегство и каприз, и несомненно это мнение согласно воле фактического редактора журнала было доведено до сведения отправившегося в добровольную «ссылку» критика.

⁵ См.: Григорьев А. Воспоминания, с. 487.

тожны, и полное согласие так легко могло бы восстановиться с обеих сторон, что придавать им важность никак нельзя. Помню, как мы целым хором уговаривали его остаться;⁶ он хватался за всевозможные предлоги, чтобы оправдать свое желание, и, несмотря на самые ясные опровержения, оставался на своем. Мы дивились его капризу и никак не могли понять его».⁷

Страхов все сводит к «болезненной» и «неровной» впечатлительности, мнительности и подозрительности Григорьева, а также к свойственному ему благородному этическому максимализму: «В словах Григорьева слышно такое страстное отношение к делу, что оно способно захватить глубину предмета, но в то же время легко приводит и к увлечениям».⁸ Особенно выпукло тенденциозность мнений Страхова сказалась в суммарной характеристике деятельности А. Григорьева как концентрированного выражения почвенничества (его статья называется «руководящей, передовой», это даже «знамя, которого нужно держаться»). Страхов видит в Григорьеве главного идеолога «Времени», «хозяина», по непонятному капризу избравшего амплуа обиженного «гостя». «При мрачном настроении Григорьева, — писал Страхов, — не мудрено, что он с таким сомнением и недоверием смотрел на „Время“. Поводы для этого недоверия, конечно, были, и Григорьев хватался за них очень крепко. Но он напрасно питал какие-то сомнения относительно будущего: „Время“ с каждым шагом старалось все тверже и прямее идти по тому самому пути, который указывал Григорьев. Желания редакции не расходились с его желаниями, хотя выполнение имело много недостатков».⁹

Страхов не просто сглаживает противоречия: он приписывает Григорьеву роль единственного вождя почвенничества и по сути отводит Ф. Достоевскому роль проводника программы критика («желаний»), не очень последовательного и расторопного. Такой «комментарий» тенденциозно искажал истинное положение дел и не мог не вызвать отпора Достоевского, вынудив его коснуться «ошибок» Григорьева и сказать о критике, как журналисте, весьма нелестные, суровые слова: «В нем решительно не было этого такта, этой гибкости, которые требуются публицисту и всякому *проводителю идей* <...> „Я критик, а не публицист“, — говорил он мне сам несколько раз и даже незадолго до смерти своей, отвечая на некоторые мои замечания. Но всякий критик должен быть публицистом в том смысле, что обязанность всякого критика — не только иметь твердые убеждения, но *уметь* и проводить свои убеждения. А эта-то *умелость* проводить свои убеждения и есть главнейшая *суть* всякого публициста. Но Григорьев, судя о слове *публицист* с предубеждением <...> не хотел даже и понимать, чего от него добивались, и, кто знает, по своей гам-

⁶ Трудно представить Ф. М. Достоевского участником этого «хора».

⁷ См.: Григорьев А. Воспоминания, с. 438—439.

⁸ Там же, с. 459.

⁹ Там же, с. 481.

летовской мнительности, может быть, думал, что от него добиваются отступничества.

Я полагаю, что Григорьев не мог бы ужиться вполне спокойно ни в одной редакции в мире. А если бы у него был свой журнал, то он бы утопил его сам месяцев через пять после основания» (20, 135, 136).

Сказано очень резко и без всякого списхождения к покойному критику. Но резкость абсолютно оправдана как содержанием писем Григорьева, так и сопроводительным комментарием — воспоминаниями Страхова, просто вынуждавшими отвечать твердо и нелицеприятно. Да и позднее, по поводу тех или иных обстоятельств упоминая Григорьева, Достоевский одновременно будет полемизировать или соглашаться с воззрениями Н. Страхова-Косицы, «Горацио» критика. Тогда же в журнале «Эпоха» Достоевский (до публикации писем критика) еще раз обратился к оценке деятельности Григорьева — в примечании к статье Д. В. Аверкиева, монотонной и вялой попытке обозреть идеи создателя «органической критики». В сущности, это не «примечание», а блестящее эссе, в котором Достоевский дает (не без субъективных акцентов, конечно) сжатую, лапидарную, отточенную сравнительную характеристику достоинств и недостатков двух выдающихся литературных критиков середины века: «... Григорьев был шире, глубже и несравненно богаче одарен природою, чем Добролюбов. Добролюбов был очень талантлив, но ум его был скуднее, чем у Григорьева, взгляд несравненно ограниченнее. Эта узкость и ограниченность составляли отчасти даже силу Добролюбова. Кругозор его был уже, видел и подмечал он меньше, следственно» и передавать и разъяснять ему приходилось меньше и всё одно и то же; таким образом, он само собою говорил понятнее и яснее Григорьева. Скорее договаривался и сговаривался с своими читателями, чем Григорьев. На читателей, мало знакомых с делом, Добролюбов действовал неотразимо. Не говорим уже о его литературном таланте, больше, чем у Григорьева, и энтузиазме слова. Чем уже глядел Добролюбов, тем, само-собою, и сам менее мог видеть и встречать противуречий своим убеждениям, следственно», тем убежденнее сам становился и тем всё яснее и тверже становилась речь его, а сам он самоувереннее» (20, 230).

Сочувствуя широким и глубоким убеждениям Григорьева, Достоевский, как явствует из этого примечания, был не очень высокого мнения о его литературном таланте. Непосредственно, впрочем, в полемику с конкретными мнениями слишком широкого, увлекающегося Григорьева-критика Достоевский пока не вступает. Но косвенно, в примечании к другой статье Аверкиева «Значение Островского в нашей литературе», должно быть не во всем удовлетворившей Достоевского, он дал понять, что считает оценку Григорьевым пьес Островского чрезмерно преувеличенной. Осторожная критика Аверкиевым восторженных слов Григорьева, сравнивавшего Островского с Шекспиром и Пуш-

киным, редактору показалась мягкой, уклончивой — и он ее усилил в примечании: «Наше мнение — что никому даже и в голову не придет сопоставлять Островского с Шекспиром или Пушкиным, несмотря на все значение Островского в нашей литературе» (20, 229).

Хотя в годы редактирования «Времени» и «Эпохи» Достоевский в основных чертах сочувствовал полемике Григорьева с теорией «темного царства» Добролюбова (возможно, отчасти под влиянием старшего брата Михаила Михайловича), он уже тогда многого не принимал в концепции Григорьева творчества Островского, но во имя единой «почвеннической» линии от прямой полемики воздерживался. Позднее, когда Достоевский уже не чувствовал себя связанным интересами общепочвеннического дела, он в письмах к Страхову без церемоний выскажет свое мнение о статьях Григорьева, посвященных разбору пьес Островского.¹⁰ Давно сложившееся, подспудно скрываемое неприятие Достоевским творчества Островского и насмешливое отношение к экзальтированно-восторженным суждениям в стихах и прозе Григорьева о народном драматурге «вдруг» вырвалось наружу. Достоевский, что, конечно, несправедливо и пристрастно, поставил пьесу Аверкиева «Фрол Скобеев» в некоторых отношениях выше пьес крупнейшего русского драматурга, в частности потому, что не обнаружил у Аверкиева «карикатурного ослабления à la Островский» (П., II, 187). Досталось и Григорьеву: «Островский — щеголь и смотрит безмерно выше своих купцов. Если же и выставит купца в человеческом виде, то чуть-чуть не говоря читателю или зрителю „Ну что ж, ведь и он человек“». Знаете ли, я убежден, что Добролюбов правее Григорьева в своем взгляде на Островского. Может быть, Островскому и действительно не приходило в ум всей идеи насчет Темного Царства, но Добролюбов *подсказал* хорошо, и попал на хорошую почву» (там же).

И если чрезмерно высокая оценка пьесы Аверкиева была минутной, то этого никак нельзя сказать о мнении Достоевского об Островском и его страстном истолкователе и пропагандисте. Целый ряд однотипных набросков Достоевского к «Дневнику писателя» за 1876 г. примыкает к дипломатическому примечанию 1864 г. и откровенному мнению (эпистолярный жанр для этого создает максимально благоприятные возможности) в письме к Страхову 1869 г. Не устает писатель пронизывать над сопоставлением Островского с Шекспиром, усиливая негативную оценку творчества русского драматурга: «Островский и Шекспир, а было время, когда этому поверили, впрочем, всего один чело-

¹⁰ Достоевский особенно часто в письмах к Страхову 1868—1870 гг. упоминает Григорьева: очевидно, повод для этого дал сам критик, выступивший с циклом статей об эпопее Толстого «Война и мир», в котором воспользовался (сильно упростив) теорией Григорьева о борьбе «хищного» и «смирного» типов в русской истории и литературе.

век поверил, да и то, как говорят, сам автор, — но ведь верил же, ведь было же произнесено слово „Шекспир“, и вдруг такое иссякание» (24, 105).

По-видимому, эта полемически-враждебная запись непосредственно связана с другой: «Ап. Григорьев. Эта вечно декламирующая душа» (24, 80), в свою очередь отдаленно напоминающей определение сути Григорьева в статье 1864 г. (своеобразном некрологе): «Без сомнения, каждый литературный критик должен быть в то же время и сам поэт; это, кажется, одно из необходимейших условий настоящего критика. Григорьев был бесспорный и страстный поэт, но он был и капризен и порывист, как страстный поэт» (20, 136). Однако именно отдаленно: собственно попытка объяснить психологически, почему Григорьев не только поставил Островского выше других современных литераторов, но и дошел до смешных сопоставлений драматурга с Пушкиным и Шекспиром. Особо подчеркивает Достоевский «оскудение» художественной мысли Островского, убедительно демонстрирующее эксцентричность и поспешность «декламации» Григорьева. И здесь Достоевский фактически соглашается с ироническими суждениями Добролюбова о восторженной, но бездоказательной, риторичной манере Григорьева, «кричавшего» с непременными восклицательными знаками о «новом слове» Островского. Достоевский считал, что Григорьев выдал страстно-желаемое, взыскуемое за реально существующее — и безмерно преувеличил идеально-коренное, народное начало творчества Островского.

Сохранилось много набросков к планировавшейся Достоевским в «Дневник писателя» статье о русской сатире. Вполне определенное место в набросках занимает и Островский. Отчасти, судя по ним, Достоевский все же разделяет концепцию творчества Островского, выдвинутую Григорьевым, но, освобождая ее от преувеличений и «декламаций», приходит к выводу о непоследовательной и робкой попытке драматурга создать сатиру с идеальной, нравственной подкладкой. И все же, несмотря на многочисленные оговорки и нелестную оценку «формы», Достоевский признает, что Островский вошел в русскую литературу с «новым словом»: «У Островского как-то начали было смешиваться положительные стороны жизни с сатирой. Из сего последовало общее недоумение и непризнание Островского критикой даже доселе»; «У нас сатира боится дать положительное. Островский хотел было»; «...силы таланта не имел, холоден, растянут (повести в ролях) и недостаточно весел, или, лучше сказать, комичен, смехом не владеет. Островскому форма не далась. Островский хоть и огромное явление, но сравнительно с Гоголем это явление довольно маленькое, хотя и сказал *новое слово*: реализм, правда, и не совсем побоялся положительной подкладки»; «Островский, — но он мало сказал» (24, 304, 305, 307).

Конечно, это наброски, черновые «рабочие» заготовки, а следовательно, определения и оценки здесь приблизительно, пер-

воначальны. Доведись Достоевскому написать статью о русской сатире — а он, как свидетельствует последняя записная тетрадь 1880—1881 гг., мысль о ней не оставлял — и наверняка тезисно набросанные мысли о «негативных» сторонах творчества Островского были бы смягчены. И, несомненно, уделил бы Достоевский внимание и критикам Островского — Григорьеву и Добролюбову. Но, к сожалению, мы располагаем по большей части лишь очень лаконичными записями, порой с трудом (и приблизительно) поддающимися расшифровке. Составить ясное впечатление из них (как из статей о Некрасове, к примеру), что «значили» для Достоевского Григорьев и Островский, просто невозможно. А имена Григорьева и Островского, равно как Григорьева и Страхова, по вполне понятным причинам соседствовали в сознании Достоевского. Кстати, Достоевский и посоветовал Страхову написать статью о Григорьеве — литературном критике: «А знаете, не худо бы в продолжение года, в „Заре“, пустить статью об Аполлоне Григорьеве, т. е. не то, что биографию, а вообще о его литературном значении» (П., II, 156).

Но одновременно Достоевского встревожило мельком выраженное Страховым намерение выступить с мемуарами о Григорьеве, почвенничестве и почвеннических журналах. Он стал энергично отговаривать Страхова, ссылаясь на несвоевременность подобного рода воспоминаний: «... Вы написали в письме Вашем, чрезвычайно вскользь, что хотите сесть за литературные воспоминания. Что это будет? И будет ли что-нибудь? Вы упомянули о времени издания нашего бывшего журнала, об Ап. Григорьеве, о нас. Я слишком понимаю, что эта полоса жизни могла резко, а может быть и приятно (как воспоминание Вашей молодости) отпечататься в Вашей памяти. Но об этом не рано ли слишком писать, да и интересно ли в данный момент? Думаю, что и рано, да и неинтересно будет для других» (П., II, 335).

Аргументы Достоевского логичны и серьезны, и все же они не объясняют тревоги писателя. Видимо, Достоевский просто не доверял Страхову-мемуаристу, помня о его пристрастиях и тенденциозности, так отчетливо выразившихся пять лет назад в статье, пропагандировавшей оренбургские письма Григорьева. И предполагая, «что это будет», Достоевский настойчиво уговаривает фактического редактора «Зари» повременить с мемуарами. Другое дело литературная статья о «значении» Григорьева. Здесь, по мнению Достоевского (тогда), компетентнее Страхова автора не найти. Тем более, что Достоевский высоко оценивал популяризаторский талант и литературный стиль Страхова. «У вас язык и изложение несравненно лучше григорьевского», — писал Достоевский Страхову, и такое сопоставление, разумеется, не могло не польстить критику. Правда, к комплименту Достоевский тут же присовокупил и критику, очертив то, что ему представлялось существенным недостатком статей Страхова: «Ясность необычайная; но всегдашнее *спокойствие* придает Вашим статьям вид *отвлеченности*. Надо и поволноваться,

надо и хлестнуть иногда, снизить до самых частных, текущих, насущных частностей» (П., II, 168—169).

Таким образом, то, что само по себе является преимуществом, достоинством, оборачивается серьезным недостатком — спокойствием, отвлеченностью, холодностью. Нет страсти, поэзии, трепета, увлеченности — качеств, присущих и вечно «торопящемуся» Белинскому, и «порывистому», «капризному» Григорьеву, и постоянно нарушающему «меру» дисгармоничному художнику Достоевскому. В письмах конца 1860-х гг. Достоевский корректно, не скупясь на дифирамбы, определяет то, что не удовлетворяет его в критических статьях Страхова. Стоит, однако, Достоевскому резко сместить акценты — и тщательно выверенные, дипломатично уравновешенные комплиментами упреки превратятся в инвективу, в острую и гневную памфлетную зарисовку. Письмами Достоевского, в которых хвала явно преобладала над хулой, Страхов был доволен, но тем, пожалуй, сугубо уязвил его «неожиданный» обличительный портрет в записной тетради 1875—1876 гг. А ведь ничего принципиально нового в обобщенном, типизированном портрете литератора-семинариста Страхова не было: контуры его явно проглядывают в дружественных письмах периода работы Достоевского над «Идиотом», «Бесами», «Вечным мужем».

Да и вряд ли Достоевский собирался в «Дневнике писателя» так резко и непосредственно задеть Страхова. Скорее всего, он, отталкиваясь от индивидуальных биографических и психологических черт Страхова, намеревался дать обобщенный (предельно) портрет литератора-семинариста, а следовательно, наверняка убрал бы и слишком личные детали и конкретные упоминания имени критика: метод обычный, которым Достоевский многократно пользовался, работая над художественными и публицистическими произведениями. Но как бы то ни было, этот оставшийся в черновом варианте сатирический портрет Страхова представляет большую ценность, позволяя, в частности, скептически отнестись к словам критика об исключительно тесных и дружеских отношениях между ним и Достоевским как в 1860-е гг., так и позже.

Портрет исполнен жгучего гнева и очень напоминает обличительными, ниспровергающими интонациями ранее созданный Достоевским портрет «культурного типика» В. Г. Авсеенко. По всей видимости, не случайно рядом с характеристикой индивидуальных черт «приживальщика», гедониста и семинариста Страхова (24, 240) находится позднейший, уже после пространной антикритики выпад против Авсеенко: «...самое тупейшее литературное существо из всех населявших русскую литературу» (24, 239). Реплика явно запоздалая, но своеобразно подготавливающая обличительную характеристику Страхова. Высказавшись сразу, очень определенно и резко, Достоевский в дальнейшем максимально устраняет индивидуальные психологические и биографические черты (один из «литературных типов наших», «натура

русского священника»), обрисовывает тип *семинариста*, отвлекаясь от профессиональных особенностей (литератор), как постепенно, исторически сложившийся (от Сперанского до современных деятелей). Выпады против определенного лица исчезают, но тем не менее связь с портретом «нашего критика» Страхова, пусть и предельно растворенная во всеобщем, сохраняется. «*Семинарист*, сын попа, составляющего *status in statu*, а теперь уж и отщепенца от общества, а казалось бы, падо напротив. Он обирает народ, платьем различается от других сословий, а проповедью давно уже не общается с ними. Сын его, семинарист (светский), от попа оторвался, а к другим сословиям не пристал, несмотря на все желание. Он образован, но в своем университете (в Духовной академии). По образованию проеден самолюбием и естественною ненавистью к другим сословиям, которые хотел бы раздробить за то, что они не похожи на него. В жизни гражданской он много внутренне, жизненно не понимает, потому что в жизни этой ни он, ни гнездо его не участвовали, оттого и жизнь гражданскую вообще понимает криво, лишь умственно, а главное отвлеченно. Сперанскому ничего не стоило проектировать создание у нас сословий, по примеру английскому, лордов и буржуазию и проч. С уничтожением помещиков семинарист мигом у нас воцарился и наделал много вреда отвлеченным пониманием и толкованием вещей и текущего» (24, 241).

Но и этот, почти отделанный этюд Достоевский не решился ввести в «Дневник писателя». Все, что от него осталось в «Дневнике» 1876 г., — небольшое и абсолютно лишенное каких-либо конкретных личных намеков, очень измененное рассуждение в статье «Лучшие люди» (Октябрь, гл. 2) по поводу одного из важнейших последствий «Табели о рангах»: «Явился прилив новых сил снизу общества <...> и особенно из семинаристов. Прилив этот привнес много живительного и плодотворного в отдел лучших людей, ибо явились люди со способностями и с новыми воззрениями, с образованием, еще неслыханным по тогдашнему времени, хотя в то же время и чрезвычайно презиравшие свое прежнее происхождение и с жадностью спешившие преобразиться, посредством чинов, поскорее в чистокровных дворян» (23, 155).

Так далеко «уклонился» Достоевский от портрета литератора-семинариста Страхова, отбросив постепенно все частные мотивы, а затем и чрезмерно односторонние и горячие обобщения. А первоначальным толчком, повлекшим за собой длинную, меняющуюся цепочку рассуждений, явилось сильно задевшее Достоевского сопоставление англичанки и русской женщины в статье «Женский вопрос». С мнениями Страхова Достоевский уже полемизировал в подготовительных материалах к «Бесам» (см.: 11, 120 и комментарий — 12, 342—343), но счел необходимым вновь вернуться к ним в «Дневнике писателя» (диалог с Парадоксалистом — 23, 88—89). Полемика в «Дневнике» при всей страстности

корректна и анонимна.¹¹ Признается, что в «брошюре о женщинах есть несколько прекраснейших и самых зрелых мыслей». Имя автора скрыто, а возражения направлены лишь против «одной фразы». Возражения, однако, очень пространны и хорошо подкреплены историческими, современными и литературными доказательствами, преимущественно взятыми из произведений любимейших писателей Страхова: «Я уже не стану указывать на обозначившиеся идеалы наших поэтов, начиная с Татьяны, — на женщин Тургенева, Льва Толстого, хотя уж это одно большое доказательство: если уж воплотились идеалы такой красоты в искусстве, то откуда-нибудь они взялись же, не сочинены же из ничего. Стало быть, такие женщины есть и в действительности» (23, 88—89). То есть Достоевский бросает Страхову и литературный упрек, ставя под сомнение искренность и глубину его критических оценок, непоследовательность и странность в устах почитателя Пушкина, Толстого, Тургенева такого сопоставления англичанки и русской женщины.

В ходе работы над «Дневником» исчезли почти все размышления Достоевского о типе литератора-семинариста и некоторые другие мотивы, не столь отчетливо заявленные и развернутые — лишь названные, обозначенные. Но обозначенные несколько раз, что говорит о серьезном намерении Достоевского уделить им немалое место в «Дневнике»: «Смерть Ап. Григорьева. Женщины по Страхову»; «Эмс, дорога — все анекдоты, англичанка, мнение Страхова, смерть Аполлона Григорьева — описание моего приключения в части»; «Кстати: издал Аполлона Григорьева. Знают ли, как он умер? Смерть его. Женщина» (24, 228, 232, 235). Это в записной тетради. Аналогично и в подготовительных материалах:

«Кстати, почему англичанок считают

Страхова брошюра

Смерть Аполлона Григорьева»;

«29. Почему англичанка

30. Смерть Аполлона Григорьева» (23, 182, 186).

Наброски однотипны. В них явственно проступают два мотива, имеющие прямое отношение к статье о русской женщине: полемика с мнением Страхова и какие-то обстоятельства смерти Аполлона Григорьева. Формально или внешне мотивы связаны («кстати») фактом недавнего издания Страховым сборника статей Григорьева.¹² Но какова внутренняя связь? Лишь одно тут ясно — воспоминание о Григорьеве должно было послужить аргументом в споре с мнениями «холостяка» и «семинариста» Страхова. Очевидно также, что Достоевский планировал не вообще воспоминания об Аполлоне Григорьеве и не статью о его литературной

¹¹ Правда, как бы между прочим звучит реплика Парадоксалиста, в которой автор-собеседник резонно обнаружил «язвительность»: «Должно быть, автор холостой человек и не успел еще узнать всех качеств русской женщины» (XXIII, 88).

¹² Григорьев А. Соч. СПб., 1876, т. 1 (ценз. разр. 22 марта 1876 г.).

деятельности, а только рассказ о смерти и, можно предположить, похоронах критика.

Прискорбно, что Достоевский не осуществил этот замысел, заменив григорьевский сюжет другим — рассказом Парадоксалиста, не имеющим никакого отношения ни к смерти Григорьева, ни к женщинам в его жизни. Тем более прискорбно, что мы располагаем очень небольшим числом мемуаров об Аполлоне Григорьеве, да и в них частная жизнь поэта и критика освещена скупо. Страхов таких частных и личных мотивов в печатных публикациях, как правило, избегал. О последних днях Григорьева он писал как-то туманно и невнятно: «Даже освобождение Григорьева из долгового отделения, случившееся неожиданно, по желанию одной незнакомой ему дамы, вместо того, чтобы привести к чему-нибудь лучшему, не изменило хода дела; странно сказать — можно даже думать, что оно ускорило смерть покойника: он умер через четыре дня после своего освобождения».¹³ Еще более лаконичен А. П. Милюков: «...осенью 1864 года он скончался, выйдя незадолго перед смертью из долгового отделения, куда посажен был кредиторами за какую-то ничтожную сумму. Говорили, что на этот раз его выкупила одна дама, писательница, на условии, чтобы он исправил ее сочинение».¹⁴

Подробнее и ярче других о последних днях и похоронах А. А. Григорьева рассказал П. Д. Боборыкин. Рассказал трижды. Сначала в повести «Долго ли?» (1875), где факты перемежаются с вымышленными деталями и изменены имена. В повести выразительно обрисованы печальные, мизерные похороны писателя и поминки, отчасти заставляющие вспомнить известное место в романе «Преступление и наказание». На поминках фигурирует и «избавительница» писателя из «Тарасова дома»: образ карикатурный, резко шаржированный. Через два года в газете «С.-Петербургские ведомости» (1877, № 41 от 10 февраля) Боборыкин в статье «А. А. Григорьев (Из воспоминаний о пишущей братии)» воспроизведет с несущественными изменениями рассказ о похоронах писателя в повести: «Только на похоронах <...> узнал я достоверные факты, т. е. как его действительно выкупила из долгового отделения какая-то старая знакомая, как он перебрался к какой-то квартирной хозяйке, где заболел и скончался совсем неожиданно <...>. Проводить Григорьева собралось немного народу: редакция журнала „Эпоха“, несколько человек из „Библиотеки для Чтения“, два-три актера <...> и какие-то личности в странных одеждах, как оказалось, пансионеры дома Тарасова, сидевшие с Григорьевым в одной комнате. В церкви все заметили бывшую актрису г-жу Владимирову <...> На возвратном пути с кладбища все зашли в кухмистерскую закусить. К концу завтрака явилась г-жа Б., пожилая дама, очень развязная и бойкая, которая во всеуслышание

¹³ См: Григорьев А. Воспоминания, с. 509.

¹⁴ Там же, с. 564.

начала рассказывать нам, как она выкупила покойного из долгового отделения и как он представил ей за это право на проспектальную плату переведенной им шекспировской драмы „Ромео и Юлия“. Рассказ почтенной этой генеральши <...> подействовал на всех присутствующих болезненно. Но ни у кого не хватило духу остановить ее, дать ей понять всю неуместность такого поведения...».

Из мемуаров Боборыкина видно, что Достоевский участвовал и в похоронах и в «поминальном завтраке», а следовательно, слышал и рассказ Бибиковой. Однако в книге «За полвека» Боборыкин иначе освещает события траурного дня. О «генеральше», правда, повествуется с иронией, но среди говоривших на поминках ее нет; рассказывает Бибикова об «избавлении» Григорьева одному Боборыкину: «...когда мы шли с нею с похорон Григорьева, она мне рассказала историю своего „благоденствия“, уверяя меня, что когда она выкупила Григорьева, то он, идя с ней по набережной Фонтанки, бросился перед ней на колени».¹⁵ А это уточнение серьезно меняет дело. Вполне вероятно, что Достоевский как раз об этой «избавительнице» и хотел рассказать в «Дневнике писателя», опираясь, разумеется, не на воспоминания Боборыкина, а на признание самого Григорьева. Не ввел же он рассказ о смерти Григорьева по простейшей причине: устранив имя автора брошюры, Достоевский исключил и рассказ о последних днях критика, сочинения которого только что издал поклонник «англичанок» семинарист Страхов.

Но однажды — и только однажды — Достоевский все же вспомнил Аполлона Григорьева в самом «Дневнике», на этот раз полемизируя не со Страховым, а с самим собой, со своими запальчивыми суждениями, изложенными в конце 1869 г. в письмах из-за границы литературным друзьям в России. Тогда, в первоначальный период работы над «книгой великого гнева», романом «Бесы» Достоевский был настроен по отношению к «западникам» особенно желчно и нетерпимо. Резкие, бранные эпитеты, крайне несправедливые и пристрастные, потоком обрушивались на голову «неистового Виссариона». В каком-то яростном порыве отрицалось даже очевиднейшее — талант Белинского (не очень, правда, последовательно). Подыскивались примеры, долженствующие доказать, что у Белинского даже критического чутья не было. Вот в эту горячую минуту заодно досталось и своеобразному «адвокату» Белинского — Григорьеву. А. Н. Майкову внушалось: «...никогда не поверю словам Аполлона Григорьева, что Белинский кончил бы славянофильством. Не Белинскому кончить было этим <...> Большой поэт в свое время: но развиваться далее не мог» (П., II, 149). А через полтора года, что говорит об устойчивом раздражении Достоевского, возраставшем, принимавшем гиперболические формы, последовала

¹⁵ Боборыкин П. Д. Воспоминания. М., 1965, т. 1, с. 395.

суровая отповедь Страхову, робко вступившемуся за слишком уж поносимого критика: «Вы говорите, он был талантлив. Совсем нет и боже — как наврал о нем в своей поэтической статье Григорьев <...>. Я бы мог вам набрать таких примеров сколько угодно, для доказательства неправды его критического чутья и „восприимчивого трепета“, о котором врал Григорьев (потому что сам был поэт)» (П., II, 364—365).

Рудименты и отголоски неистового эпистолярного похода против Белинского ощутимы и в «Дневнике писателя» за 1873, 1876 и 1877 гг., в речи о Пушкине и — особенно — в записной тетради 1875—1876 гг. Но это не более, чем отголоски — сниженная, редуцированная критика, лишь временами ярко вспыхивающая и вновь угасавшая, смиряемая трезвыми и объективными суждениями. Надо также сказать, что Достоевский, осудив «вранье» Григорьева, позабыл (или предал забвению) тот факт, что в начале 1860-х, т. е. тогда, когда в разных статьях Григорьева варьировалась особенно запомнившаяся ему мысль, он и сам отзывался о Белинском в том же духе. Поэтому вполне естественно, что Достоевский в 1876 г. совсем иначе оценивает мнение Григорьева и, весьма своеобразно его переосмыслив, соглашается с критиком. Точнее, превращает в свой «парадокс», лишь частично соприкасающийся с прогнозом Григорьева: «Белинский <...> страстно увлекавшийся по натуре своей человек, примкнул, чуть не из первых русских, прямо к европейским социалистам, отрицавшим уже весь порядок европейской цивилизации, а между тем у нас, в русской литературе, воевал с славянофилами до конца, по-видимому, совсем за противоположное. Как удивился бы он, если б те же славянофилы сказали ему тогда, что он-то и есть самый крайний боец за русскую правду, за русскую особь, за русское начало, именно за всё то, что он отрицал в России для Европы, считал басней, мало того: если б доказали ему, что в некотором смысле он-то и есть по-настоящему консерватор, — и именно потому, что в Европе он социалист и революционер? <...> если славянофилов спасало тогда их русское чутье, то чутье это было и в Белинском, и даже так, что славянофилы могли бы счесть его своим самым лучшим другом. Повторяю, тут было великое недоразумение с обеих сторон. Недаром сказал Аполлон Григорьев, тоже говоривший иногда довольно чуткие вещи, что „если б Белинский прожил долее, то наверно бы примкнул к славянофилам“. В этой фразе была мысль» (23, 40, 42).

Достоевский в «Дневнике» менее историчен в своих оценках и сопоставлениях, чем Григорьев, и глубоко не прав, объявляя споры славянофилов и западников 1840-х гг. «великим недоразумением с обеих сторон». В этих спорах он и сам участвовал, и во многом иначе их оценивал в почвенническом журнале «Время». «Парадокс» Достоевского, по сути, не так уж много общего имеет с мнением Григорьева, которое ничего парадоксального в себе не заключает. Достоевский возвращается, развивая

и еще больше усиливая парадоксальность, к собственным суждениям о «тайном славянофиле» Белинском в «Зимних заметках о летних впечатлениях»: «В жизнь мою я не встречал более страстно русского человека, каким был Белинский, хотя до него только разве один Чаадаев так смело, а подчас и слепо, как он, негодовал на многое наше родное и, по-видимому, презирал все русское» (5, 50). Да и в «Дневнике писателя» Достоевский ведь, собственно, не соглашается (хотя и не отвергает) с «мыслью» Григорьева, а объясняет на основе своего представления о Белинском, каким образом могла она родиться. Примечательно, что в памяти Достоевского Григорьев остался главным образом как критик, произносивший эту «фразу» о Белинском, и неутомимый, восторженный боец за Островского.

Необыкновенно интересно размышление Достоевского об органической связи, существующей между писателями и критиками в письме к Страхову: «Каждый замечательный критик наш (Белинский, Григорьев) выходил на поприще непременно как бы опираясь на передового писателя, т. е. как бы посвящал всю свою карьеру разъяснению этого писателя и в продолжение жизни успевал высказать все свои мысли не иначе, как в форме растолковывания этого писателя. Делалось же это наивно и как бы необходимо. Я хочу сказать, что у нас критик, не иначе растолкует себя, как являясь рука об руку с писателем, приводящим его в восторг. Белинский заявил себя <...> именно опираясь на Гоголя, которому он поклонялся еще в юношестве. Григорьев вышел, разъясняя Островского и сражаясь за него. У Вас бесконечная, непосредственная симпатия к Льву Толстому, с тех самых пор как я Вас знаю» (П., II, 166—167).

Достоевский прав, понятно, лишь отчасти, а по отношению к Белинскому — менее всего. Примечательно другое: затаенная горечь писателя, так и не дождавшегося своего «критика», который «опирался» бы на его произведения, чувствовал бы к нему «бесконечную, непосредственную симпатию». Пожалуй, лишь на заре литературной деятельности Достоевский испытал нечто подобное: восторженный прием Белинским «Бедных людей». Но «восхитительная минута» быстро промелькнула — и ничего, даже отдаленно ее напоминавшего, после не было. К восторгам Григорьева по поводу пьес Островского Достоевский не «ревновал», понимая, что тут было сердечное, «физиологическое» влечение, «род недуга». А в Страхове резонно видел человека, критически или равнодушно воспринимавшего его произведения, явно отдававшего предпочтение Толстому-художнику (и Тургеневу). Тут все было понятно, и тем не менее обидно — «бесконечная, непосредственная симпатия» Стрхова к Толстому раздражала. Чем дальше, тем больше. Вообще объектаемый и уравновешенный Страхов был во многом чужд и неприятен Достоевскому. Совсем иначе он относился к Григорьеву. Конечно, и между ними были разногласия и недоразумения, но не существовало «подводных», скрывааемых антипатий, как

правило, в конце концов переходящих в прямую вражду. Напротив, отношения между Достоевским и Григорьевым складывались откровенно, без дипломатии, «нараспашку». Обиды не таились, а тут же изливались наружу в самой открытой и покоряющей искренностью форме.

Жестковатый, но верный духу истины и подлинного уважения к личности и деятельности Григорьева топ статьи-некролога Достоевского хорошо передает суть и специфику этих отношений, гармонирует с обращениями Григорьева к Достоевскому в письмах и статьях критика. «Да — я не деятель, Федор Михайлович! (предполагаю, что и вы будете читать это письмо), и, признаюсь вам, я горжусь тем, что я не деятель в этой луже — что я не могу купаться в ней купно с Курочкиным, — я горжусь тем, что во времена хандры и омерзения к российской словесности я способен пить мертвую, *нищаться*, но не написать в свою жизнь ни одной строчки, в которую я бы не верил от искреннего сердца... Вы на меня *ярите* за то, что я уехал, оставил-де свой пост, как вы называете. Увы! В прочности этого поста я весьма мало убежден и теперь. Вот киргизов русской грамоте обучать, это хоть и скучная адски вещь, да зато прочная и главное — всегда одинаково удобная для исполнения», — темпераментно отстаивал свое бегство и кредо «ненужного человека» Григорьев.¹⁶ Достоевский *ярится*, не соглашался с аргументами мнительного и капризного критика, но откровенность и страстное желание объясниться до конца ему явно импонировали.

* * *

Однажды Страхов пожаловался Достоевскому на постоянное, давнишнее уже равнодушие к его статьям читающей публики: «А критика моя не имела успеха <...> Ее не понимают, в чем я совершенно убедился, не понимают люди даже очень смысленные <...> Я убедился, что для массы я пропал и никогда не буду иметь успеха».¹⁷ Достоевский на свой лад, своеобразно и остроумно утешил критика: «Что слишком скоро и быстро понимается, — то не совсем прочно. Белинский только в конце своего поприща заслужил известность желаемую, а Григорьев так и умер, ничего почти не достигнув при жизни <...> Сущность дела так тонка, что всегда улетает от большинства; они понимают, когда уже разжуют им, а до того им кажется всегда всякая новая мысль не особенно любопытною. И чем проще, чем яснее (т. е. чем с большим талантом) она изложена, — тем более и кажется она слишком *простою* и *ординарною*. Ведь это закон-с» (П., II, 183).

Сопоставив равнодушие читателей и прессы к статьям Страхова с «неудачами» великих критиков Белинского и Григорьева,

¹⁶ Григорьев А. Воспоминания, с. 479.

¹⁷ Шестидесятые годы. М.; Л., 1940, с. 256.

Достоевский, пожалуй, мог лишь утвердить Страхова во мнении, что к нему-то уж точно успех никогда не придет. Впрочем, Достоевский вовсе не иронизировал, а действительно «утешал» Страхова, преподнося ему эстетико-психологический урок. Сопоставление Белинского и Григорьева, постановка их в один ряд как «поэтов», мыслителей, выдающихся критиков традиционна для Достоевского. Столь же традиционно и определение таланта, как простого и ясного стиля, и, по мнению Достоевского, статьи Добролюбова и Страхова безусловно талантливы.¹⁸ Но одни эти высокие литературные достоинства еще не гарантируют успеха. К «ясному» стилю Страхова современники относились с полнейшим равнодушием. Его, в отличие от туманного и эксцентричного Григорьева, не замечали. Убеждения Григорьева могли представляться архаичными и странными, восторги — наивными и смешными, но вне сомнения были самобытность, «органичность», страстность мысли критика-поэта. Вообще Григорьев, если суммировать по разным поводам и в разное время высказанные Достоевским суждения, и в психологическом и в литературном отношениях — полная противоположность Страхову. Григорьев — «вечно декламирующая душа», «один из наших русских Гамлетов», натура страстная, рефлектирующая, неуемная, критик неясный и хаотичный, но со своими и очень глубокими идеями. Страхов — самое спокойствие, хладнокровие, критик очень уж обтекаемый, уравновешенный и, в сущности, не имеющий собственных идеалов и убеждений, «литератор-семинарист», своего рода приживальщик в литературе, ранее эксплуатировавший идеи А. Григорьева, а позднее прилепившийся к любимейшему писателю русской публики — графу Льву Толстому («затолстевшему»).

В том, что Григорьев почти ничего не достиг при жизни, считал Достоевский, во многом «виноват» был он сам, упорно отстаивая позиции «последнего романтика» и «ненужного человека», с вызовом заявляя о своем нежелании быть «деятелем», «публицистом» в эпоху вавилонского смещения языков, понятий, идей — в «антиэстетическую» эпоху Прогресса. Но, с другой стороны, как отчетливо понимал Достоевский, то была вина органическая, даже «физиологическая». А странная и незавидная репутация Григорьева-литератора в глазах большинства, диалектически поворачивает мысль Достоевский, свидетельствует о глубине и прозорливости выдающегося критика-идеолога. Непонимание большинства есть и высшее признание гениальности Григорьева, намного опередившего своих «утилитарных», всецело пребывающих в плоскости «минуты» современников. Потому и сетовать на непонимание современников, считает Достоевский,

¹⁸ Хотя и не равно талантливы. Добролюбов, с точки зрения Достоевского, замечательный критик-публицист. Блестящий литературный стиль, «энтузиазм слова», твердые и неколебимые убеждения — вот слагаемые невиданной популярности статей Добролюбова. Страхов, конечно, фигура далеко не такого масштаба.

было бы нелогично, паивно, равносильно познанию жизни и ее «законов».

Наконец, то, что Достоевский расценивал как недостатки литературной манеры Григорьева, отчасти были и его собственные недостатки, в чем, кстати, писателя упрекал неоднократно Страхов. Достоевский хотя и признал относительную правомерность упреков и советов Страхова, попытался даже использовать их во время работы над «Подростком» (безуспешно), понимал, что они бесполезны, бессмысленны, находятся в неразрешимом конфликте с коренными свойствами его характера, «натуры». «Никогда-то я не умел писать постепенно, подходить подходами и выставлять идею лишь тогда, когда уже успею ее всю разжевать предварительно и доказать по возможности. Терпения не хватало, характер препятствовал, чем я, конечно, вредил себе, потому что иной окончательный вывод, высказанный прямо, без подготовлений, без предварительных доказательств, способен иногда просто удивить и смутить, а пожалуй, так вызвать и смех...», — анализировал свой стиль, обусловленный особенностями «натуры», Достоевский в самом конце деятельности, в январском выпуске «Дневника писателя» за 1881 г. (27, 12). Эти слова всецело могут быть отнесены и к стилю А. Григорьева, что лишний раз подчеркивает не просто близость, а близость, частично переходящую в конгениальность художественных натур двух крупнейших литераторов-почвенников.

Такая близость предполагала откровенную во имя торжества общих идеалов диалогичность отношений. В письмах и устных дискуссиях диалог принимал нередко характер резкий, горячий, усугубляемый специфическими чертами «натур» современников. В статьях диалог, понятно, не был столь взвинченным, там слово очищено от мимолетных эмоциональных напластований и «подозрений». Более взрывчатое, «вулканическое» у Григорьева: «... мне было горько слышать эти упреки от тебя в том, что я сам теоретик. В особенности от тебя горько мне было это слышать по множеству причин, и, во-вторых, уже потому, что в процессе моральном, под влиянием которого сложились мои воззрения на жизнь и литературу, направление, которого ты был некогда одним из деятелей, играло роль весьма значительную <...>. Ты заявил, между прочим, желание, чтобы я написал совершенно искреннюю статью, нечто вроде своего profession de foi критического; ну вот, в форме писем к тебе я начинаю ряд статей, не то что искренних, а даже, без позволения сказать, халатных, статей совсем нараспашку; да и почему же не быть и не писаться таким статьям в наше если не на деле, то на словах стремящееся к полной искренности время? Ты желал также, чтобы весь был убеждения внес я в это дело; ну, боюсь, что ты станешь упрекать меня в азарте».¹⁹ Более сдержанное, отточенное, аналитическое,

¹⁹ Григорьев А. Эстетика и критика. М., 1980, с. 135, 137. Немаловажно, что Григорьев, начиная цикл статей с характерным заголовком

содержащее глубокий анализ мировоззрения, натуры и особенностей стиля поэта-критика слово Достоевского. Оно — по контрасту — поражает точностью и сжатостью наблюдений, оставаясь при этом предельно искренним и «латентно» эмоциональным.

Никому (кроме А. Блока, подошедшего, впрочем, к творчеству и личности критика и поэта с иной стороны) не удавалось так диалектично, изнутри очертить личную «подоплеку» деятельности Григорьева, и очертить с безупречным тактом и полной искренностью, к которой просто обязывали «халатные» оренбургские письма Григорьева: «В этих великолепных *исторических* письмах, в которых не звучит ни одной фальшивой (неискренней) ноты и в которых так типично, хотя все еще не вполне, обрисовывается один из русских Гамлетов нашего времени (настоящих Гамлетов), — в этих великолепных письмах <...> не все и теперь может быть взято <...> без оговорок <...>. Григорьев был хоть и настоящий Гамлет, но он, начиная с Гамлета Шекспирова и кончая нашими русскими, современными Гамлетами и гамлетиками, был один из тех Гамлетов, которые менее прочих раздваивались, менее других и рефлексировали. Человек он был непосредственно и во многом даже себе неведомо — почвенный, кряжевой. Может быть, из всех своих современников он был наиболее русский человек, как натура (не говорю, как идеал; это разумеется). От этого и происходило, что малейший порыв свой в общем деле он считал до того *кровным* и необходимым для *всего* дела, до того неразрывным с делом, что малейшее неудовлетворение этому порыву казалось ему иногда падением всего дела. И так как раздваивался жизненно он менее других, и, раздвоившись, не мог так же удобно, как всякий „герой нашего времени“, одной своей половиной тосковать и мучиться, а другой своей половиной только наблюдать тоску своей первой половины, сознавать и описывать эту тоску свою, иногда даже в прекрасных стихах, с самообожанием, и с некоторым гастрономическим наслаждением, — то и заболел тоской своей весь, целиком, *всем человеком*, если позволят так выразиться. В этом настроении написаны и письма его <...>. я рад чрезвычайно, что публика и литература могут яснее узнать, по этим письмам Григорьева, какой это был правдивый, высоко честный писатель, не говоря уже о том, до какой глубины доходили его требования и как серьезно и строго смотрел он всю жизнь на свои собственные стремления и убеждения» (20, 135—136).

Замечательный этюд: итог долгих и интенсивных наблюдений Достоевского, интерес которого к личности и творчеству Григорьева начиная с середины 1850-х гг. (в 1840-е гг. их пути не пересекались) неуклонно возрастал. Григорьев был удивлен,

«Парадоксы органической критики», избирает форму «писем» к Ф. М. Достоевскому, тем самым продолжая искренние и откровенные устные и эпистолярные дискуссии. Не менее важно и другое обстоятельство: к полной, совершенной искренности призывал его именно Достоевский.

узнав (в 1860 г.), что «братья Достоевские, Страхов, Аверкиев» столь высокого мнения о его статьях: мнительный критик уже привык ощущать себя «ненужным», вынашившим из времени, безмерно преувеличивая свое «безвыходное положение». Но удивляться, собственно, было нечему. Внимание Достоевского, только что вернувшегося из ссылки, не могли не привлечь работы Григорьева. В них, особенно в монографии о «Дворянском гнезде», он встретился с идейными и эстетическими убеждениями и верованиями, необыкновенно ему созвучными. Монография Григорьева — первый развернутый идейно-эстетический манифест почвенничества, то «вевание», которое было с энтузиазмом встречено Достоевским. И уже одно это обстоятельство обусловило неизменные заявления Достоевского о глубине, искренности и высоте убеждений Григорьева.

Разногласия между Достоевским и Григорьевым, конечно, существовали как по частным, так и по общим вопросам, но они не достигали серьезного конфликта. Позиции Достоевского и Григорьева по большинству основных литературных и общественных вопросов были исключительно близки, хотя каждый из них к аналогичным или схожим заключениям пришел своим «органическим» путем.

Так, однако, получилось, что Григорьев сравнительно мало места уделил в своих статьях произведениям Достоевского. На протяжении многих лет он повторял с некоторыми вариациями одну и ту же «формулу» об авторе «Бедных людей», «Двойника», «Господина Прохарчина», главе «школы натурального сентиментализма», «формулу» интересную, но тем не менее узкую и тенденциозную. Достоевского, возможно, неприятно поразили суждения критика о его ранних повестях, полузабытые и вновь ожившие в том сочинении Григорьева, изданных Страховым. Вот отчасти почему, можно предположить, книга не только не обрадовала, но и разочаровала Достоевского. В ответ на просьбу С. Д. Яновского он высылает том статей Григорьева, составом которого явно не был удовлетворен: «Высылаю Вам книгу Ап. Григорьева; Страхов только всего и издал» (II, IV, 284). Вот и все, что сказано Достоевским об этой книге, если не считать краткой записи об издателе сочинений Григорьева в крайне недоброжелательном для Страхова контексте. Все другие, прямые или косвенные обращения к мнениям и биографии Григорьева в «Дневнике писателя» никакого отношения к книге, изданной Страховым, не имеют, что несколько неожиданно, особенно если вспомнить, что как раз Страхову Достоевский рекомендовал выступить со статьей о значении литературной деятельности Григорьева. И в то же время понятно: неглубокое, какое-то «формальное», бесцветное предисловие Страхова понравиться не могло. Страхов, кстати, совершенно обошел в предисловии почвеннические журналы, а Достоевского даже не упомянул. Словом, надежд Достоевского предисловие не оправдало, и доведись ему осуществить замыслы статей об обстоятельствах

смерти Григорьева и русской сатире, писатель неизбежно вступил бы в полемику и с пропагандистом идей «органической критики», и с самим Григорьевым. Точнее, с григорьевской концепцией развития русской литературы после Гоголя, с которой он полемизировал еще в почвеннических журналах и в устных дискуссиях с критиком.

А в книге эта концепция представлена, можно сказать, в концентрированном виде. Уже в первой статье персонажи повестей Достоевского — Девушкин, Голядкин, Прохарчин характеризуются как «герои зловонных, темных углов, герои, которые и действительно существуют, но, во-первых, не одни же в целом божьем мире, а во-вторых, существуют не такими, какими создают их себе авторы...», а точка зрения писателя и других, не столь значительных представителей школы сентиментального натурализма называлась «одностороннею, болезненною».²⁰ Не могло не задеть Достоевского и раздраженное, несправедливое, предвзятое отношение Григорьева к той же «школе» и роману «Бедные люди» в статье «Русская изящная литература в 1852 году»: «Смесь грязи с сентиментальностью, идеализма самого ребяческого с намеренным углублением в анализ самых ничтожных и бессмысленных подробностей повседневной действительности, напряжения с бессильем, — эта школа доходила до тех крайностей, которые обличали явное истощение. Стоит только припомнить подобные произведения, чтобы убедиться в совершенном истощении направления, которое с самого начала, впрочем, обличало в себе отсутствие настоящих жизненных соков. Недавно еще случилось нам перечитать одно из самых сильных произведений этого направления — и признаемся откровенно, что давно уже не испытывали мы впечатления более мутного, более неопределенного, как то, какое навевали на нас письма Макара Алексеевича Девушкина к Варваре Алексеевне...».²¹ В статье «О комедиях Островского» следует еще один выпад — на этот раз против «одряхлевшей критики», которой «нипочем было провозгласить печальную песнь, вроде „Бедных людей“, и анатомический препарат, вроде „Двойника“ — гениальными произведениями».²² Наконец, в посвященном А. Н. Майкову эстетическом трактате «Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства» Григорьев среди «метеоров в жизни и искусстве» (в противоположность «гениальным натурам» — Пушкину, Гоголю, Островскому, Брюллову, Мейерберу) назовет «Макара Алексеевича Девушкина», сетующего «на безжалостное, по его мнению, представление Акакия Акакиевича».²³ Ну а жизнь метеоров, как общеизвестно, весьма скоротечна.

²⁰ Григорьев А. Соч., т. 1, с. 32.

²¹ Там же, с. 55—56.

²² Там же, с. 109.

²³ Там же, с. 218.

Повторит Григорьев, правда, не называя имени Ф. Достоевского (упоминаются М. Достоевский и Я. Бутков), свои прежние суждения о школе сентиментального натурализма и в монографии о «Дворянском гнезде».²⁴ Но здесь уже намечен и перелом; очевидна перемена в отношении Григорьева к творчеству Достоевского. Критик отделяет писателя от других «ординарных представителей» «школы» как «истинного» художника, которому стали тесны сентиментально-натуралистические рамки: «...вся болезненная поэзия, разлитая истинным поэтом сентиментального натурализма в „Белых ночах“, вся тревожная лихорадочность „Хозяйки“ не могли спасти исчерпанного и обнаженного до скелета направления. Поэт сентиментального натурализма сам сделал важный шаг к выходу из него в развивавшейся все глубже и глубже „Неточке Незвановой“ — и о нем нельзя поэтому сказать последнего слова; но сентиментальный натурализм — увы!».²⁵

Поворот, лишь слегка намеченный в монографии, но знаменательный. Григорьев не успел написать статьи о творчестве Достоевского, но тон и смысл его разрозненных статейных, эпистолярных и устных высказываний о произведениях писателя (как новейших, так и ранних) в 1860-е гг. резко, качественно изменился. Но все это осталось за пределами страховского тома сочинений Григорьева, в котором сосредоточены главным образом однотипные суждения критика о «болезненном» поэте «сентиментального натурализма», авторе «метеорных» чиновничьих повестей. И полнейшей неожиданностью выглядит замыкающая книгу статья «Парадоксы органической критики»: открытый и темпераментный диалог не с редактором «Эпохи», а с коллегой-литератором по общему почвенническому делу. Не менее неожиданным выглядят и слова Григорьева о весьма значительной роли, которую в его развитии играло «направление», активным деятелем которого был Ф. М. Достоевский. Все предшествующие этому признанию в книге размышления Григорьева о школе сентиментального натурализма говорили о другом: «болезненному» творчеству Достоевского и его эпигонов Григорьев противопоставлял «народные» пьесы Островского.

Память Достоевского запечатлела другого рода суждения Григорьева в пору их совместного сотрудничества в журналах «Время» и «Эпоха»: тонкий разбор достоинств и недостатков романа «Униженные и оскорбленные» в письме к Страхову (со словами о «высоком даровании Ф. Достоевского»), немногословная, но драгоценная реплика критика в устной беседе о «Записках из подполья»: «...ты в этом роде и пиши» (П., II, 183) и др. «Добрый Аполлон Александрович, с которым я сошелся гораздо ближе впоследствии, всегда следил за моей работой с горячим участием...», — вспоминал Достоевский (20, 134).

²⁴ Там же, с. 327.

²⁵ Там же, с. 350.

Это «горячее участие» ощутимо в целом ряде статей Григорьева 1860-х гг., оставшихся за пределами первого тома сочинений критика, изданного Страховым. Сказалось оно и на отношении Григорьева к тому направлению, в котором он в 1850-е гг. видел одностороннее развитие некоторых мотивов «Петербургских повестей» Гоголя.²⁶ Вот что критик писал в статье «Стихотворения Н. Некрасова» по поводу «Двойника» и повестей Буткова: «Вспомните <...> первые произведения поэта „Униженных и оскорбленных“, в особенности „Двойника“, эту тяжелую, мрачную и страшно утомляющую этюду явлений не жизненных, а чисто миражных, и произведения <...> Буткова, — болезненные, горькие, ядовитые отражения странной, не органической, а механической жизни. В этой типичности все, малейшие даже, явления действовали на чуткие натуры болезненно-раздражительно, отчасти даже фантастически. Это особое, действительно фантастическое настроение впечатлений, стоящее подробного, исторического изучения. В так называемой школе сентиментального натурализма сказалась вся глубокая симпатичность русской души и вся способность ее к болезненной раздражительности».²⁷

Хотя Григорьев и не отрекается от многих своих прежних суждений, но поворот мысли принципиально другой: критик пытается определить народный (национальный) колорит произведений о бедных чиновниках и петербургских углах и проследить эволюцию Достоевского, процесс постепенного превращения бытописателя «механической жизни» в поэта народной, органической, живой жизни (важные вехи здесь — «Неточка Незванова», «Униженные и оскорбленные», а вершина и венец — «Записки из Мертвого дома»). А в результате производится своеобразная перестановка «слагаемых»: литературные явления, долгое время расцениваемые как утомительно-одностороннее развитие мотивов «Шинели», «Записок сумасшедшего», теперь представляются естественной реакцией на «отрицательное» слово Гоголя. С наибольшей четкостью сформулировал Григорьев эту мысль в статье «Стихотворения Н. Некрасова», уделив в ней немало места творчеству Достоевского. «В явлениях, или, лучше сказать, в откровениях жизни есть часто бесспорный параллелизм, — писал Григорьев. — Новое отношение к действительности, к быту, к народу, смутно почувствовавшееся в стихотворении Некрасова, почувствовалось тоже и в протесте „Бедных людей“, протесте против отрицательной гоголевской манеры, в первом, еще молодом голосе за „униженных и оскорбленных“, в сочувствии, которому волею судеб дано было выстрадаться до сочувствия к обитателям „Мертвого дома“».²⁸

²⁶ Направление, «которое собственно взяло только тот болезненный тон юмора, который звучит в „Записках сумасшедшего“ и в „Шинели“ — и пустилось расплываться в бесчисленных, хотя постоянно уныло-однообразных вариациях» (там же, с. 55).

²⁷ Григорьев А. Литературная критика. М., 1967, с. 489—490.

²⁸ Там же, с. 460.

В той же статье Григорьев бросил упрек современной критике, которая «тупо молчит о Ф. Достоевском».²⁹ Судя по всему, Григорьев сам постепенно «приближался» к статье о Достоевском, которую, возможно, собирался демонстративно включить в постоянно открытый цикл «Явления литературы, пропущенные современной критикой». Во всяком случае Григорьев то и дело обращается к творчеству Достоевского, главным образом к «Запискам из Мертвого дома», но вынужденно говорит вскользь, по поводу, скованный тем обстоятельством, что его статьи предназначались для журналов братьев Достоевских. Чем больше вдумывался Григорьев в содержание «народной» книги Достоевского, тем яснее представлялись критику и нити, связующие ее с ранними и последующими произведениями «истинного поэта» школы сентиментального натурализма, и особое, в своем роде исключительное место «Записок из Мертвого дома» в русской литературе.

Прослеживая типологически и психологически родственные «нравственные процессы», постепенное и органическое нарастание в произведениях виднейших русских писателей реалистических и народных элементов, выводя формулы и законы, Григорьев стремится избежать обезличивающей нивелировки, сжато указывая на индивидуальные отличия, обусловленные многоразличными факторами: «Над всеми почти великими деятелями нашими той эпохи, когда *quelques gentilshommes se sont occupés de la littérature*, начиная от Пушкина, продолжая Тургеневым и кончая Ф. Достоевским, хотя этот последний достиг страдательным *психологическим* процессом до того, что в „Мертвом доме“ слился совсем с народом, — повторялся один и тот же казус, поэтически выраженный величайшим из наших великих в стихотворении „Возрождение“:

Но краски чуждые с годами
Спадают ветхой чешуей».³⁰

Или, говоря иначе, «Мертвый дом», в представлении Григорьева, есть высшая точка в длинной и многоликой истории отношений русской литературы к народности.

Закономерно, что в статье «Граф Л. Толстой и его сочинения» Григорьев уже просто не может не коснуться книги Достоевского. «Недавно еще такое явление, как «Мертвый дом», доказало нам, что силы не умирают, не забиваются судьбою, а встают могучее после добровольной или принужденной инерции», — пишет Григорьев, предсказывая в будущем стремительный взлет художественного гения Толстого.³¹ Но этот взлет еще дело будущего, залогом которого является «глубоко искренний психический процесс», превосходно проанализированный Григорьевым, в то

²⁹ Там же, с. 453.

³⁰ Там же, с. 483.

³¹ Там же, с. 516.

время как «Мертвый дом» есть результат длительного и трудного развития, явление чрезвычайного масштаба. Прилагая к произведениям Толстого теорию «хищного» и «смирного» типов, рассматривая отношения русских писателей (Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Писемского, Гончарова) к этим коренным национальным типам, Григорьев исключает из сопоставительного анализа двух «народных» художников — Островского и Достоевского, заключая, что к их героям уже невозможно подходить с такой, пусть и очень широкой меркой. «Прежде чем разъяснить значение анализа Толстого, — прерывает критик обычный в его статьях ход рассуждений о борьбе в литературе и жизни «хищного» и «смирного» типов, — я должен предупредить вопрос о том, почему, исчисляя различные отношения наших писателей к двум типам, я не сказал ни слова о ярко замечательном отношении к ним Островского и Ф. Достоевского? То и другое отношение, как это будет объяснено в свое время и в своем месте, совершенно оригинально. В идеалах чуждой нам жизни искали Пушкин и Тургенев блестящих типов; в глубине народной жизни ищут как Островский, так и Достоевский, — и широких типов, как, например, тип Петра Ильича и многие из лиц „Мертвого дома“, так равно и смиренных. Смирные их типы нельзя назвать в противоположность типам широким простыми, потому что и широкие их типы взяты из народной жизни».³²

Приведенное место драгоценно еще и тем, что содержит прямое указание на будущую статью Григорьева о «Записках из Мертвого дома» Достоевского. Статья постепенно вызревала, контуры ее отчетливо проступают в работах о произведениях Некрасова и Толстого. И все-таки Григорьев не нашел для нее ни «времени», ни «места». В результате мы располагаем лишь фрагментарными суждениями критика об «Униженных и оскорбленных», «Записках из Мертвого дома», «Зимних заметках о летних впечатлениях», «Записках из подполья», но и по ним можем сделать правомерный вывод об огромном впечатлении, произведенном на Григорьева творчеством «нового» Достоевского. Но почему все же критик не написал статьи, к которой, казалось бы, так уверенно шел? Ведь он мог осуществить замысел в «Якоре», который редактировал, и в «Светоче», где продолжал помещать статьи к большому неудовольствию М. М. Достоевского? Ответить на этот вопрос трудно, да и любой ответ будет неизбежно гипотетичен. Можно, в частности, предположить, что Григорьев испытывал некоторую растерянность, столкнувшись с «крупным явлением» во многом иного рода, чем, к примеру, романы Тургенева, Гончарова, пьесы и повести Островского, Писемского. К тому же, анализируя процесс рождения «Записок из Мертвого дома», Григорьев неизбежно должен был коснуться

³² Там же, с. 526—527.

биографии, судьбы Достоевского, а по многим причинам сделать это было весьма затруднительно.

Иначе, конечно, обстояло дело с «Записками из подполья», которые явно пришлись по душе Григорьеву. Вполне вероятно, что Григорьев обратился бы к анализу повести в новом цикле «Парадоксы органической критики». Но его силы были уже на исходе, и цикл своеобразных литературных писем к Достоевскому остался незавершенным. Однако и название цикла и чистосердечный («нараспашку», «халатный») разговор с Достоевским, начатый Григорьевым, естественно и невольно ассоциируются с жанром и проблематикой «Записок из подполья». «Род», в котором Григорьев советовал писать Достоевскому, был ему, как критику-поэту и художнику, особенно близок: первая часть повести (метафизический бунт против Стены, философия и психология Подполья) многими чертами сродни бунту, «диалектическим коленцам» «ненужного человека» в «Безвыходном положении» и «Плачевных размышлениях».

Произведения Достоевского и Григорьева не только создавались одновременно, но и печатались рядом на страницах почвеннических журналов. Они рождались в атмосфере споров, как «очных», т. е. устных, в литературном кружке братьев Достоевских, где доминировали два авторитетнейших голоса — Федора Достоевского и Аполлона Григорьева, так и «заочных»: письма сбежавшего в Оренбург критика зачитывались вслух в редакции «Времени», а в ответные Страхов неизменно включал советы, мнения и оценки руководителей журнала. Вот питательная среда, та идейно-философская и психологическая почва, на которой выросли «Записки из подполья», «Зимние заметки о летних впечатлениях» Достоевского и такие значительные произведения А. Григорьева, как мемуары «Мои литературные и нравственные скитальчества», статьи «Стихотворения Н. Некрасова», «Граф Л. Толстой и его сочинения» и др.

Совершенно естественно, что многое объединяет произведения Достоевского и А. Григорьева 1860-х гг. Главным образом именно их усилиями и было создано то, что мы обозначаем термином «почвенничество», понимая под этим определенное промежуточное общественно-литературное направление с единым комплексом эстетических, философских, политических и психологических элементов, в видоизмененном виде сохранившееся и в позднем творчестве Достоевского-художника и публициста. Особенно, пожалуй, очевидна близость основных идей и сопоставлений в «некрасовской» главе «Дневника писателя» Достоевского за 1877 г. и в статье А. Григорьева «Стихотворения Н. Некрасова» 1862 г. Это, собственно, различные варианты почвеннической концепции народности творчества Некрасова. Достоевский вполне мог забыть через 15 лет статью Григорьева (в том, изданный Страховым, она не вошла). К сходным выводам он пришел совершенно самостоятельно, опираясь на собственный опыт встреч с Некрасовым, на свое, давно уже сложившееся

представление о личности поэта (во многом, кстати, отличное от григорьевского). Но тем, пожалуй, сильнее впечатляет эстетико-идеологическое родство многих суждений, сопоставлений и выводов А. Григорьева и Ф. Достоевского. О «влиянии» здесь говорить не приходится; «совпадения» предполагают слишком большую роль случая. Не в этом, конечно, дело, а в общих философско-эстетических принципах анализа явлений жизни и литературы, единых критериях (или «критериумах», как писал Григорьев), среди которых особенно важны два, теснейшим образом связанные — «живой жизни» и «народности», составившие фундамент, «аксиоматику» почвенничества.